

**ФРЕГАТ
«БЕЛЛОНА»**

* * *

И вдруг я понимаю, что такое жизнь. *Я ее вижу.*

Платон Платонович красиво сравнивал жизнь с фарватером, а человека — с кораблем, и некоторое сходство, конечно, имеется. Проживаешь день за днем, будто плывешь от бакена до бакена, и через кабельтов пенный след за кормой уже не виден. Однако ж сравнение неправильное. Вот уж не думал, что когда-нибудь не соглашусь с таким человеком! Это у Платона Платоновича жизнь — фарватер, а сам он похож на трехпалубный корабль, у меня же, и вообще у людей обыкновенных, всё не так.

Ведь фарватер, как известно всякому моряку, представляет собою единый водный проход, установленный для безопасной навигации судов, а у каждого человека курс следования свой собственный, и рифы с милями тоже персональные: кто-то потонет, а другому хоть бы что.

И с кораблем дюжинную личность я сравнивать бы тоже не стал. Это правда, что каждое судно имеет свой нрав, свою натуру и планиду — не зря у нашего брата корабль считается живым существом. Однако человек на корабль не похож. Корабль в каком классе со стапелей

Анатолий Брусникин

сошел, в том же и окончит свои дни. Никогда фелюке не вырасти в корветы, а, скажем, фрегату не выродиться в шлюпы. С людьми же приключаются самые разные перемены, или, по-ученому сказать, метаморфозы. Иной из нас, пока доследует до порта окончательной приписки (или до дна морского — это уж как судьба), раз по десять поменяет и тоннаж, и оснастку.

Даже удивительно, как это я сейчас о таких вещах думаю. Я много о чем сейчас думаю. Вот смотрю в одну точку и вспоминаю, как Платон Платонович, обучая меня правописанию, втолковывал: «Запомни, Герасим: никакая книга, никакая реляция и никакая мысль не может считаться законченной, пока ее не завершит точка».

Вон она, моя точка, я ее вижу. Она черная.

Но точка, которой всё заканчивается, сама по себе важности не имеет. Она всегда и у всех одинаковая. Важно, что было перед точкой: написанное тобою и про тебя. Что не вырубишь топором.

Жизнь лежит передо мной, будто длинный-предлинный лист, вроде тех, на которых писали в древние времена, когда бумагу не резали на страницы, а сворачивали в свиток.

Я вижу неровные строчки, сливающиеся в чернильную канитель, и букв не разобрать, потому что мелкое и незначительное в памяти обыкновенно не застревает. Но есть и картинки. Они как распахнутые окошки, я могу в них заглянуть.

И я заглядываю в каждое, ни одно не пропускаю. Почему-то я знаю: на это времени у меня хватит.

КАРТИНКА ПЕРВАЯ.

ЗЕЛЕНАЯ ЯЩЕРИЦА

Самая первая картинка расположена далеко от начала рукописи — оно мне почти вовсе не видно, теряется в какой-то сонной дымке. Честно говоря, ничего там, в начале моей жизни, интересного нету. Раннюю свою пору я почти что и не запомнил. То есть помню, конечно, кто я родом и из какой произрос почвы, но воспоминания будто окутаны туманом. Словно не со мною это было, а прочитал я в книжке или услышал от кого-то рассказ про матросского сына Герку Илюхина, появившегося на свет в Корабельной Слободе славного города Севастополя такого-то числа одна тыща восемьсот такого-то года.

Думается мне, что детские годы и отрочество так скудно отложились в моей памяти, потому что до некоего позднелетнего дня я и не жил по-настоящему, а пребывал в полудреме, навроде личинки или куколки.

Сейчас, в сию самую минуту, мне открылось, что моя жизнь — *настоящая жизнь* — началась не когда я, по выражению грубозыкой тетки Матрены, «вылез из поганой черной дыры на поганый белый свет», а наоборот: когда я с бела света сверзся в черную дыру. Между двумя этими событиями диаметрально противоположного галса миновало пятнадцать с лишком лет, которые никакого интереса не представляют. Вся моя ранняя биография (ей-богу, не достойная столь громкого слова) укладывается в три слова: родился, осиротел, вырос.

К тому дню, когда я провалился в черную дыру и, стало быть, началась моя настоящая жизнь, я вырос еще не в полный свой рост и был ниже себя нынешнего вершка этак на два, но всё же вытянулся на полголовы выше

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

тетки Матрены, а она в Корабельной считалась женщиной *каботажной*, то есть статной.

...Вот я сижу на склоне холма, именуемого у нас Лысой горой, смотрю на бело-зеленый город, курю самосад из глиняной трубки и ни о чем особенно не думаю. Не научился я тогда еще думать. Нужды в том не было. Так бы, наверное, и проклевал носом в бессмысленной полудреме до смертной доски, как большинство земных обитателей, — если б не зеленая ящерка.

Но ящерку я увижу через несколько мгновений, пока же просто пляжусь на Севастополь. Других городов и местностей я еще не видывал, потому зрелище не кажется мне чем-то особенным.

И все же я часто залезал на какую-нибудь из окрестных возвышенностей и глазел с высоты на кварталы и бухты. Несомненно, я чувствовал притягательность красоты, хоть, конечно, очень удивился бы, если б мне кто-то сказал, что я люблю пейзажем. Я и слова такого не знал.

Теперь-то, когда мои глаза научились распознавать и оценивать красивое, я понимаю, какой это был волшебно прекрасный город.

Я сплевываю табачные крошки, лениво оглядывая язык Южной бухты, справа от которого желтеют соломенные кровли родной слободки; на солнце переливается большой рейд — на нем, как гуси на воде, военные корабли; в тесной Артиллерийской бухте густо торчат мачты купеческих судов, а прямо подо мною раскинулись правильные квадраты «чистого» города: красные крыши, белые стены, зеленые бульвары. Повернешь голову влево — там морской простор, будто растянутая парчовая риза, вся в золотом шитье и самоцветных камнях.

Мне скучно. Трава на плешивом склоне вся выгорела. Жарко печет августовское солнце. Надо бы перебраться

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

под какой-нибудь валун, укрыть затылок от знойных лучей, да лень. Волосы на макушке, если потрогать, горячие. Тетка, зараза, не разрешает носить по будням старую отцову бескозырку, а другого головного убора я не признаю, потому что я не шпынь береговой, а моряцкий сын. Я и одет в матросское: рубаху, холщовые штаны, парусиновые башмаки. Пускай всё латаное-перешитое, однако ясно, из каковских я буду...

Батя мой был марсовый матрос. Он помер еще до моего рождения, в заморском порте Манила, от желтой тропической лихорадки. Тетка Матрена рассказывала, что был он высокий, на лицо рябой и малость кривоногий. Вот и всё, что я знал про папашину личность. Потретов с матросов не пишут.

Матери у меня отродясь не было. Тетка даже ее имени не запомнила и звала не иначе как «лярвой». Меня, когда осерчает, «лярвиным сыном».

Лярва и есть. Как узнала, что батя из плавания не вернется, кинула меня, сосунца, тетке под дверь, а сама в Одессу уплыла с каким-то греком. Или, может, в Николаев. Ну ее совсем. Про отца я думал часто: какой он был, чего на своем веку повидал, да каково это в Маниле помирать. А про мать никогда. Чего о лярве думать?

Воспитала меня батина сестра — как умела, то есть, считай, никак. Она была матросская вдова, каких в Корабельной много. Плохого про нее сказать не могу. Любить не любила — думаю, и слова такого не знала. У нас в слободке детей любить не в обычае. Кормить кормят, заболели — лечат. А там погладить, приголубить, слово нежное сказать — такого заводу нет.

Изредка тетка меня жалела, но это спьяну, когда выпьет шкалик-третий и на слезу потянет. Сначала долю свою несчастную обплачет, потом и до меня, сиротинуш-

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

ки, очередь дойдет. Я-то, правду сказать, не жалел Матрену нисколько. Думал, подрасту еще и сбегу в Керчь или Евпаторию, буду с рыбаками рыбу ловить. С контрабандистами тоже хорошо, весело.

Вот-вот, про это я как раз и подумал, когда повернул голову в сторону моря и увидел на соседнем камне зеленую ящерку.

Крымские ящерки на исходе лета обретают серый, скучный цвет, становясь неразличимыми на фоне жухлой травы и пыли, эта же была ярко-зеленая, будто вся вырезанная из бутылочного стекла, или нет, не стекла, а китайского нефрита, на который я, бывало, пялился в витрине «Колониального магазина», что на Екатерининской улице. В жизни не видывал я такой нарядной ящерицы! Длинной она была, пожалуй, с мою ладонь. Глазки — словно две блестящие икринки. В напряженном вытянутом тельце, в повороте точеной головки было что-то *файное* — или, как я сказал бы теперь, изысканное.

Мысль, что пришла мне в голову при виде изящного зверька, была не особенно изящная: эх, поймать бы да на Привоз. Там, на приморском базаре, я не без успеха продавал морских звезд и коньков, необычные раковины и прочую дребедень, не имевшую у нас в слободке никакой ценности, однако же охотно приобретаемую чудаками из «чистой» публики: приезжими чиновниками или барчуками. За такую царскую ящерку какой-нибудь гимназист или юнкер мог отвалить четвертак, а то и полтинник.

Сначала я подобрал небольшой булыжник. До камня, на котором грелось зеленое чудо, было шагов пять. Я бы не промахнулся. Но потом я передумал. Не то чтоб из жалости, а просто прикинул, что за живую дадут больше, чем за сушеную. Опять же, ежели ящерицу высушить, так, наверно, вся зелень сойдет — и какой дурень тогда ее купит?

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Очень медленно я приподнялся, спрятал трубку в нагрудный ладан, заменявший мне карманы. Шажок, другой.

Ящерица чуть двинула головкой. Я понял, что ближе она меня не подпустит.

Несколько минут я не двигался. Она тоже.

Как дивно посверкивала на солнце переливчатая шкурка! Меньше чем за рубль не уступлю, думал я. А может, вовсе себе оставляю. Сколочу клеточку, насыплю желтого песочка или белой гальки, буду кормить изумрудную царевну мухами да любоваться.

Едва лишь ящерица, успокоившись на мой счет, отвернулась, как я кошкой, оттолкнувшись ногами, сиганул на валун, где сидела моя добыча.

Валун был плоский, плотно утопленный в землю, размером с большой барабан. Еще в полете я понял, что останусь с пустыми руками. В мгновение, будто спущенная с тетивы зеленая стрелка, ящерица сорвалась с места, и я упал на пустой, нагретый солнцем камень.

От азарта я совсем не думал о том, как приземлюсь. Ударился грудью и подбородком — больно, до звона в голове, соленого привкуса во рту и черноты в глазах.

Оглушенному, мне показалось, что от моего сокрушительного падения дрогнула и просела земля. Я хотел опереться о камень и приподняться, но у меня почему-то не получалось. Валун словно вминался в почву под моими руками. Что-то шуршало, скрипело, ёкало.

Уверенный, что еще не очухался от удара, не веря своим глазам, я увидел, что камень уходит куда-то вниз. Если бы я не находился в таком остолбенении, то наверное ухватился бы за росший рядом сухой куст, но момент был упущен. Валун провалился сквозь землю, и я вместе с ним.

Падая головой в черную дыру (верней, не падая, а скользя, ибо движение было не отвесное сверху вниз, а немного наискось), я заорал во всё горло — и еще успел

Анатолий Брусникин

услышать чудовищно гулкое эхо собственного голоса, но в следующую секунду сорвался уже в полную пустоту и, верно, от ужаса лишился чувств, потому что удара о твердь не помню, а высота была приличная. Я после измерил: две с половиной сажени.

Скоро я очнулся, нет ли, не знаю. Только открыл глаза — и ничего кроме черноты не увидел. Потер веки, хлопал ресницами — опять ничего.

Что я живой, мне было ясно. Болело ушибленное плечо, а на зубах скрипела пыль. Но вообразилось, будто я ослеп, и я взвыл.

Вот гляжу я на себя тогдашнего и примечаю, как много я вопил, орал, плакал. Как часто я чего-то до жути боялся, коченел в ужасе, трясся от страха.

В моей жизни случались смелые поступки. Подчас я даже пользовался славой храбреца среди людей совсем не робкого десятка. Но сам-то про себя я знаю, что от природы слеплен не из героического теста. Повидал я по-настоящему отважных людей, и немало. И скажу по опыту, что подлинный смельчак — тот, кто ведет себя с одинаковой доблестью как на людях, так и без свидетелей. Со мной, увы, не то. Я и на миру-то не всегда был орел, а уж когда я один и никто на меня не смотрит, я будто сжимаюсь, слабею, ибо не перед кем фанфарониться и держать форс.

Как же горестно и отчаянно я рыдал, сидя на ровной, твердой поверхности в кромешной тьме и не понимая, что за напасть на меня обрушилась!

Может, я принял за ящерицу колдунью, каких по окрестным горам осталось видимо-невидимо еще с басурманских, дорусских времен? Наши ребята говорили, что в глухих балках и каменных ущельях можно повстречать всякую татарскую нечисть. Против христианской души силы у той нежити нету, а всё ж лучше их не трогать.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Набросился я на изумрудную ящерицу, а она не простая, замороженная. Вот и наказала меня погребением живо и слепотою.

От слез мои глаза прочистились или, может, пообвыклись с мраком, и увидел я, что тьма не вполне кромешная, льется откуда-то слабое сияние. Поднял голову — наверху светло-серая дыра, от нее тянется столб света, и в нем кружатся пылинки, еще не осевшие после моего паденья.

Я шевельнулся, стукнулся локтем о жесткое. Да это же валун, на котором сидела ящерка!

И встали у меня мозги на место. Дошло, что никто меня не заколдовывал, а просто провалился я вместе с камнем в подземную пещеру.

У нас в горах и холмах пещер много. Есть природные, а есть рукотворные, оставшиеся от древних каменоломен. У нас в слободе тоже такие имеются. Кто победнее, хату себе не ставит, а прямо в каменной норе обживается. Летом там прохладно, и зимой обогреть легче. Темно только и душно.

Страху во мне сразу стало меньше, но все-таки еще много осталось. А коли я отсюда не выберусь, подохну от голода и жажды? Ведь сколько ни ори, никто не услышит. На Лысую гору, даром что она от города близко, люди редко поднимаются. Потому что делать тут нечего. Ни тени, ни воды, и огород не разобьешь — слой почвы больно тощ.

Я пошарил по земле, которая показалась мне странно ровной и гладкой — словно пол. Вместе с валуном вниз свалилось несколько веток и целый ком земли с сухой травой.

Вынул я из ладана трут и огниво, сделал факел. Прежде всего влез на валун и поднял руку — понять, далеко ли до дыры. Оказалось, высоконько. Не достать.

Тогда решил осмотреться — нет ли еще камней, чтоб из них сложить кучу.